



Гордей Разумов

Запрещая себе

18+

Гордей Разумов
Запрещающая себе

«Автор»

2026

Разумов Г.

Запрещаю себе / Г. Разумов — «Автор», 2026

Санкт-Петербург, 1773 год. Андрей Петрович Воронцов — безупречный чиновник, заботливый муж и отец, человек, привыкший жить по правилам. Но за внешним благополучием скрывается тоска по настоящей жизни, а случайная встреча на балу с надзирательницей Воспитательного дома Елизаветой Андреевной Шуваловой пробуждает в нём чувства, которые он давно запретил себе испытывать. Елизавета Андреевна тоже несвободна. Их общение начинается с совместной работы и писем, но вскоре перерастает в запретную страсть, которая грозит разрушить всё, что они строили годами. Разрываясь между долгом перед семьёй и желанием быть счастливым, герой пытается сохранить оба мира, пока судьба не ставит его перед выбором. «Запрещаю себе» — это чувственный историко-эротический роман о любви, бросающей вызов условностям, о борьбе с самим собой и поиске истинной свободы. Действие разворачивается в атмосфере дворянского Петербурга эпохи Екатерины Великой, с его балами, интригами и тайнами, которые могут изменить всё.

© Разумов Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	9
Письма и ожидание	9
Глава 3	13
Возвращение	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Гордей Разумов

Запрещающая себе

Глава 1

Бал в доме генерал-губернатора

Санкт-Петербург, сентябрь 1773 года

Бал в доме генерал-губернатора был в самом разгаре, и со стороны могло показаться, что весь цвет столичного общества съехался сюда этим вечером, дабы забыть о тревогах, доносившихся с далёких восточных рубежей империи. Сотни восковых свечей в золочёных люстрах и настенных бра дрожали, отражаясь в высоких зеркалах и на натёртом до зеркального блеска паркете. Их тёплый, живой свет смягчал черты лиц, делал румянец ярче, а глаза — глубже, словно сама атмосфера бала была пропитана флиртом и недосказанностью.

В огромной зале, убранной гирляндами из живых цветов и лавровых листьев, пахло горячим воском, французской пудрой, тонкими духами и лёгким ароматом померанцевой воды, которой дамы освежали запястья. Оркестр, расположившийся на хорах, выводил плавную, торжественную мелодию менуэта — главного танца вечера, открывавшего бал по заведённому исстари порядку.

По паркету, с грацией павлинов, двигались пары. Кавалеры в расшитых золотом и серебром камзолах, в узких кюлотах и белоснежных чулках, с напудренными париками, уложенными в аккуратные букли, вели своих дам — созданий, словно сошедших с полотен Ватто или Буше. Платья дам, сшитые по последней французской моде, поражали воображение пышностью: широкие юбки на фижмах колыхались при каждом реверансе, корсажи, стянутые в тугую шнуровку, подчёркивали тонкие талии и соблазнительно приподнимали грудь, а высокие причёски, украшенные живыми цветами, перьями и даже миниатюрными корабликами, возносились над головами, словно башни сказочных замков.

Андрей Петрович Воронцов, коллежский асессор, стоял у одной из мраморных колонн, отделявших танцевальную залу от гостиной, где были расставлены столы для карточной игры. В пальцах он рассеянно вертел бокал с бургундским — напитком благородным, но не столь редким и дорогим, как шампанское, которое подавали лишь на избранных приёмах у самой государыни. Вино он пил маленькими глотками, не столько ради вкуса, сколько для того, чтобы занять руки и иметь законный повод не участвовать в общем веселье.

Взгляд его скользил по залу без всякого интереса. Лица, наряды, движения — всё было знакомо до зубовного скрежета. Он знал наперечёт всех этих людей: их сплетни, их тайные пороки, их мелкие интриги, прикрытые маской светской любезности. Князь Волконский, как всегда, проигрывает в карты больше, чем может себе позволить. Графиня Толстая, улыбаясь мужу, украдкой бросает томные взоры на молодого корнета. Барон Штакельберг, выписанный из Лифляндии, с усердием, достойным лучшего применения, пытается походить на русского дворянина и оттого выглядит вдвое смешнее.

Андрей Петрович чувствовал себя лишним на этом празднике тщеславия. Он был здесь по долгу службы — генерал-губернатор благоволил ему за успешное ведение дел по сметам казённых строений, и отсутствие на балу могло быть истолковано как неучтивость. Но сердце его не лежало к этому маскараду. Ему было тридцать четыре года — возраст, когда мужчина ещё полон сил, но уже достаточно опытен, чтобы не обольщаться мишурой света. Он был женат, и брак его с Марьей Дмитриевной, урождённой Нарышкиной, был заключён по взаимной дого-

ворённости семейств — союз двух знатнейших родов империи. Супруга его была женщиной достойной, хозяйственной и благочестивой, но между ними давно уже не было той искры, что воспламеняет сердца. Они жили под одной крышей, соблюдая все приличия, растили сына — десятилетнего Петра Андреевича, — но спальни их давно уже были разделены. Андрей Петрович не искал утешений на стороне, полагая, что долг перед семьёй и службой — единственное, что должно занимать порядочного человека. Однако в глубине души он всё чаще ловил себя на мысли, что жизнь его — размеренная, предсказуемая, лишённая красок — похожа на бесконечный осенний день, когда солнце уже не греет, а лишь напоминает о том, что лето прошло.

— Андрей Петрович! — раздался рядом знакомый голос. — Вы ли это? А я уж думал, вы сбежали, как только поняли, что танцев не избежать.

К нему, широко улыбаясь, приближался князь Голицын, его давний приятель. Они были знакомы с юных лет — два отпрыска знатнейших фамилий, Воронцов и Голицын, чьи роды стояли на одной ступени в иерархии империи. Если Голицыны вели своё происхождение от Гедимины и принадлежали к древнейшей княжеской аристократии, то Воронцовы, возвысившиеся при Елизавете Петровне, не уступали им ни в богатстве, ни во влиянии при дворе. Служебное положение их также было почти равным: Голицын занимал пост в Иностранной коллегии, Андрей Петрович — в Камер-коллегии, и оба имели чин коллежского асессора. Разница заключалась лишь в том, что Голицын относился к службе как к приятному дополнению к светской жизни, тогда как Андрей Петрович видел в ней главное своё призвание. Князь был моложе его лет на пять, обладал лёгким, жизнерадостным нравом и служил живым доказательством того, что можно возвращаться в высшем свете, не теряя при этом способности мыслить здраво. Сегодня он был в превосходном расположении духа: щёки его покраснелись то ли от танцев, то ли от выпитого, а в глазах плясали бесенята.

— Куда мне бежать, князь? — усмехнулся Андрей Петрович. — Я свой долг знаю. Пришёл, засвидетельствовал почтение хозяину, теперь вот наслаждаюсь зрелищем.

— Зрелищем? — Голицын хмыкнул и взял с подноса проходящего мимо лакея бокал с вином. — А по мне, так это не зрелище, а пытка. Глядеть на танцы, когда сам не танцуешь, — всё равно что смотреть на пиршество, сидя на хлебе и воде. Но я, кажется, знаю лекарство от вашей меланхолии.

Он взял Андрея Петровича под локоть и, понизив голос до заговорщического шёпота, продолжил:

— Позвольте представить вам даму, коей вы, кажется, ещё не имели удовольствия знать. И, поверьте моему слову, это знакомство стоит того, чтобы покинуть вашу колонну.

Андрей Петрович хотел было возразить, но князь уже увлекал его в сторону противоположного конца зала, лавируя между группами беседующих гостей. Вскоре они остановились перед высокой, стройной дамой, стоявшей у окна в окружении двух пожилых статс-дам.

Даже в этом скоплении разряженных красавиц она выделялась — но не крикливой роскошью наряда, а какой-то особенной, внутренней статью. Её платье из небесно-голубого шёлка, отделанное серебряным кружевом, сидело на ней с той естественной грацией, которая не нуждается в излишних украшениях. Высокая причёска, увенчанная живыми незабудками, открывала изящную шею и горделивую посадку головы. Черты лица её были тонки и благородны: высокий лоб, прямой нос, чуть припухлые алые губы, которые, казалось, всегда готовы сложиться в улыбку. Но главное, что поразило Андрея Петровича, — это её глаза. Ярко-синие, глубокие, они смотрели на мир с каким-то особым, пытливым вниманием, словно их обладательница видела не только то, что лежит на поверхности, но и то, что скрыто под спудом светских условностей.

— Елизавета Андреевна, — обратился к ней князь с лёгким поклоном, — позвольте представить вам моего доброго друга, **Андрея Петровича Воронцова. Вы, верно, знаете**

их род — один из достойнейших в империи. Мы с Андреем Петровичем знакомы с юности и, смею заметить, в службе он весьма преуспел.

Затем он обернулся к Андрею Петровичу:

— А это, друг мой, Елизавета Андреевна Шувалова, супруга Дмитрия Сергеевича, советника Коммерц-коллегии, и, что, быть может, ещё важнее, главная надзирательница Санкт-Петербургского Воспитательного дома. Государыня императрица весьма ценит её труды на поприще призрения сирот.

Андрей Петрович учтиво поклонился, прижав руку к сердцу, как того требовал этикет. Елизавета Андреевна ответила лёгким реверансом — ровно настолько, насколько позволял её статус замужней дамы. Но глаза её при этом смотрели на него прямо, изучающе, без тени жеманного смущения, столь свойственного девицам на выданье.

— Рада знакомству, Андрей Петрович, — произнесла она. Голос её был мягок и мелодичен, но в интонации слышалось нечто такое, что заставило его насторожиться. — Князь Голицын так редко хвалит кого-либо, что его рекомендация дорогого стоит.

— Князь слишком добр ко мне, сударыня, — ответил он. — Я всего лишь скромный чиновник, старающийся добросовестно исполнять свой долг.

— Вот как? — она чуть наклонила голову, и локон, выбившийся из причёски, качнулся у виска. — И в чём же состоит ваш долг, позвольте полюбопытствовать?

— Я служу по ведомству Камер-коллегии, — пояснил Андрей Петрович. — Занимаюсь сметами на казённые строения, поставками, подрядами. Скучная материя, недостойная внимания дамы.

— Напрасно вы так думаете, — возразила Елизавета Андреевна, и в её глазах мелькнул живой интерес. — Мой Воспитательный дом, к слову, тоже получает провиант и дрова по казённым подрядам. И, признаюсь, я не раз имела случай убедиться, что от добросовестности чиновников, подобных вам, зависит, будут ли мои воспитанницы сыты и согреты зимой. Так что ваша «скучная материя» для меня отнюдь не пустой звук.

Андрей Петрович не нашёлся что ответить. Он привык, что дамы в свете либо вовсе не интересуются служебными делами, либо делают вид, что интересуются, из вежливости. Здесь же он чувствовал неподдельное внимание и даже... вызов?

— Вы не танцуете, Андрей Петрович? — внезапно спросила она, переводя разговор в иное русло. — Я наблюдала за вами. Вы стоите у колонны уже битый час. Неужто музыка вам не по нраву?

— Напротив, — он выдержал её взгляд. — Музыка прекрасна. Я лишь не большой охотник до танцев.

— И чем же вы предпочитаете заниматься на балах, коли не танцуете?

Он помедлил. С этой женщиной, он чувствовал, обычные светские любезности не пройдут. Она видела его насквозь — или, по крайней мере, делала вид, что видит.

— Я наблюдаю, — сказал он наконец. — За людьми.

Её брови чуть приподнялись.

— И что же вы видите?

Андрей Петрович позволил себе лёгкую, едва заметную улыбку. Он сам не понимал, почему говорит ей это, почему позволяет себе такую откровенность с женщиной, которую видит впервые в жизни. Но что-то в её взгляде, в её манере держаться подталкивало его к честности.

— Я вижу маски, сударыня. У каждого здесь — своя роль, и почти никто не смеет быть самим собой. Мы все играем — в учтивость, в добродетель, в весёлость. И оттого на этих балах бывает так... душно.

На мгновение в её глазах промелькнуло удивление — искреннее, неподдельное. Затем её губы тронула улыбка, но не та заученная светская улыбка, которой она, вероятно, одаривала десятки кавалеров, а иная — тёплая, с проблеском понимания.

— Редкая откровенность для первого разговора, — тихо произнесла она. — И, признаюсь, я рада, что не ошиблась в вас. Я ведь тоже смотрела на вас, Андрей Петрович. И думала: вот человек, который, кажется, тоже устал от этого маскарада.

Она взяла паузу, словно раздумывая, а затем добавила, глядя ему прямо в глаза:

— Я была бы не против продолжить наш разговор. Но, увы, этикет требует, чтобы мы танцевали, а не философствовали у колонны.

Это не было прямым приглашением — дама в её положении не могла себе такого позволить. Но это был прозрачный намёк, сигнал, который любой воспитанный кавалер обязан был распознать.

Андрей Петрович распознал. Он шагнул к ней и склонился в поклоне:

— Елизавета Андреевна, окажите мне честь. Позвольте пригласить вас на менуэт.

— С удовольствием, — она подала ему руку.

Её пальцы, затянутые в тонкую лайковую перчатку, легли в его ладонь. Прикосновение было мимолётным, но Андрей Петрович ощутил, как по телу пробежала странная, давно забытая дрожь. Словно что-то внутри него, долгое время спавшее под грудой служебных бумаг и светских условностей, внезапно пробудилось.

Они вышли на паркет. Музыка менуэта текла размеренно, и они двигались в такт — он вёл, она следовала, но в каждом её движении, в каждом повороте головы, в каждом взмахе веера сквозила та же свобода, что поразила его в разговоре. Это был не просто танец — это был немой диалог, полный недосказанности и обещаний.

Рука её легко лежала в его руке, и он чувствовал тепло её ладони даже сквозь тонкую лайку перчатки. Когда они сходились в фигурах танца, их взгляды встречались, и в эти мгновения ему казалось, что весь остальной зал исчезает, растворяется в тумане, и остаются только они двое — и эта странная, волнующая связь, возникшая между ними с первых слов.

Танец закончился. Он отвёл её на место, поклонился и хотел уже отойти, но она задержала его взглядом.

— Благодарю за танец, Андрей Петрович, — произнесла она. — И за откровенность. Это большая редкость в нашем кругу.

— Это вам спасибо, Елизавета Андреевна, — ответил он, чувствуя, как голос его слегка дрогнул. — За то, что заметили меня.

Она улыбнулась — всё той же тёплой, понимающей улыбкой.

— До встречи, Андрей Петрович. Надеюсь, не последней.

Она повернулась и отошла к своим спутницам, а он остался стоять, провожая её взглядом. В голове его пронеслась странная, пугающая и одновременно пьянящая мысль: *«Что же ты со мной делаешь?»*

Но ответа он не искал. Пока это был лишь танец. Лишь первый шаг. Но что-то подсказывало ему, что этот шаг положил начало чему-то гораздо большему, чем мимолётное бальное знакомство. И он не знал ещё, к чему это приведёт, но уже чувствовал: прежняя жизнь, размеренная и предсказуемая, осталась там, за колонной, где он стоял всего лишь час назад.

Глава 2

Письма и ожидание

Санкт-Петербург, октябрь — декабрь 1773 года

Андрей Петрович вернулся домой с бала далеко за полночь. Карета мягко катила по пустынным улицам спящего Петербурга, и в такт её покачиванию в голове его крутились обрывки минувшего вечера: блеск свечей, звуки менуэта, шорох шёлковых юбок... и глаза. Те самые, ярко-голубые, словно два цейлонских сапфира в оправе из чёрного бархата ресниц. Они стояли перед его внутренним взором, не желая исчезать, и это было странно, непривычно и отчего-то тревожно.

Дом встретил его тишиной и теплом натопленных печей. Слуга, дремавший в прихожей, встрепенулся, помог снять сюртук и принял треуголку. Андрей Петрович отпустил его движением руки и медленно поднялся по лестнице на второй этаж. У двери в спальню жены он на мгновение замедлил шаг. Из-за створки не доносилось ни звука — Марья Дмитриевна давно почивала. Он постоял несколько секунд, словно раздумывая, не войти ли, но затем двинулся дальше, в свой кабинет, служивший ему и спальней в последние годы.

Он построил этот дом так, как учил его отец: твёрдо, основательно, без излишеств. Жена — из хорошей семьи, красивая, умная, хозяйственная. Марья Дмитриевна была из Нарышкиных, и брак их, заключённый десять лет назад, считался образцовым союзом двух знатнейших фамилий. Она и вправду была хороша: статная, с правильными чертами лица, с мягкой, спокойной улыбкой, которая редко покидала её уста. Она прекрасно вела хозяйство, знала, как принять гостей, о чём говорить с посланниками и как держаться с чиновниками. Она никогда не устраивала сцен, не докучала ревностью, не требовала от него того, чего он не мог дать. Идеальная жена для идеального чиновника.

Сын — здоровый, смыслённый, подающий надежды. Петруша рос крепким мальчиком, с живым умом и добрым сердцем. Он уже бегло читал по-русски и по-французски, выказывал интерес к истории и географии, и учителя нахвалиться не могли на его прилежание. Андрей Петрович души в нём не чаял и проводил с ним каждый свободный час, когда позволяла служба.

Служба — исправная, без срывов, но и без особых взлётов. Он добросовестно исполнял свои обязанности в Камер-коллегии, проверял сметы, следил за подрядами, и начальство ценило его за аккуратность и неподкупность. Он не лез в интриги, не искал протекций, не гнался за чинами сверх положенного по выслуге лет. Он просто делал своё дело — так, как привык с детства: правильно.

Всё в его жизни было... правильным.

Именно это слово — «правильно» — он слышал с детства, и именно оно стало мерой всех его поступков. «Ты должен поступать правильно, Андрюша», — говорила матушка, когда он, ещё мальчиком, колебался между двумя решениями. «Воронцовы всегда делают правильный выбор», — наставлял отец, провожая его на первую службу. И он делал. Всегда. Во всём. Он выбрал правильную невесту, правильную должность, правильный круг общения. Он не пил лишнего, не играл в карты на крупные суммы, не заводил интрижек на стороне, как многие его сослуживцы. Он был образцом добродетели, и сам верил в это.

До недавнего времени.

Но в тридцать четыре года он вдруг обнаружил, что «правильно» — не значит «счастливо». Это открытие пришло не вдруг, не как удар грома среди ясного неба. Оно подкрадывалось исподволь, годами: в тишине его отдельной спальни, куда он перебрался после рожде-

ния сына, потому что Марья Дмитриевна сказала, что ей нужен покой; в пустых, вежливых разговорах за утренним кофе; в ощущении, что его жизнь — хорошо отлаженный механизм, который работает, работает, но не производит ничего, кроме самого движения. И это открытие было подобно трещине в фундаменте дома: снаружи ничего не видно, но внутри что-то неумолимо расходится, грозя обрушить всё здание.

Он зажёл свечу в кабинете и опустился в кресло. Спать не хотелось. Перед глазами всё ещё стояла она — Елизавета Андреевна Шувалова. Женщина, с которой он обменялся едва ли двумя десятками фраз, но которая каким-то непостижимым образом сумела заглянуть в ту самую трещину, что он так тщательно прятал от всех, и даже от самого себя.

«Я ведь тоже смотрела на вас, Андрей Петрович. И думала: вот человек, который, кажется, тоже устал от этого маскарада».

Её слова звучали в его голове снова и снова. Она увидела его настоящего — уставшего, разочарованного, задыхающегося в мире приличий и условностей. И не осудила, не отвернулась с холодной учтивостью, а улыбнулась той самой, тёплой и понимающей улыбкой, от которой у него что-то перевернулось внутри.

Он знал, что не должен думать о ней. Знал, что это неправильно. У него жена, сын, положение в обществе. У неё — муж, дочери, репутация главной надзирательницы Воспитательного дома, отмеченной благоволением самой императрицы. Любой неосторожный шаг мог разрушить всё, что они оба строили годами.

Но он не мог выбросить из головы её сапфировые глаза.

Следующая их встреча произошла лишь через несколько дней — и вовсе не в романтической обстановке бала, а в стенах Воспитательного дома на Миллионной улице. Андрей Петрович прибыл туда по долгу службы: Камер-коллегия поручила ему проверить сметы на ремонт восточного крыла и поставку провианта на зимние месяцы. Он знал, что увидит её, и готовился к этому — как ему казалось, тщательно. Но когда она вышла к нему в приёмную залу — строгая, собранная, в закрытом платье тёмно-серого сукна, с белоснежным кружевным воротничком, — он всё равно ощутил, как сердце пропустило удар.

— Андрей Петрович, — она слегка склонила голову, и в её глазах на мгновение мелькнул тот самый огонёк, который он запомнил с бала. Но он тут же погас, уступив место официальной приветливости. — Благодарю, что нашли время. Пройдёмте в мой кабинет, обсудим дела.

Она шла впереди по длинному коридору, и стук её каблучков гулко разносился под сводами. Андрей Петрович смотрел на её прямую спину, на узел волос, собранных в строгую причёску, и думал о том, что в этой женщине уживаются два совершенно разных существа: светская львица с бала и строгая надзирательница сиротского заведения. И оба этих образа волновали его одинаково сильно.

В кабинете она усадила его за стол, заваленный бумагами, и они погрузились в обсуждение смет, поставщиков и ремонтных работ. Говорила она дельно, со знанием предмета, и он невольно проникся уважением к её уму и распорядительности. Но сквозь всю эту деловую беседу пробивалось нечто иное — напряжение, повисшее в воздухе между ними, невысказанные слова, которые вертелись на языке, но не могли быть произнесены.

Когда все вопросы были улажены и он уже собирался откланяться, она вдруг остановила его:

— Андрей Петрович, позвольте спросить... Вы ведь часто бываете по делам в разных ведомствах?

— Довольно часто, сударыня, — ответил он, не понимая, к чему она клонит.

— И, вероятно, вам приходится много писать — отчёты, докладные записки, прошения?

— Приходится.

Она чуть улыбнулась — той самой, тёплой улыбкой.

— А письма вы пишете? Не по службе, а... личные?

Андрей Петрович помедлил. Он понял, что она имеет в виду, и это понимание заставило его сердце биться чаще.

— Давно не писал, — признался он. — С тех пор, как... Впрочем, это не важно.

— А мне кажется, — сказала она тихо, глядя ему прямо в глаза, — что иногда письмо может сказать больше, чем разговор. В письме мы смелее, откровеннее. Не так ли?

Он выдержал её взгляд и ответил:

— Возможно, вы правы, Елизавета Андреевна. Возможно.

Она улыбнулась снова и протянула ему руку для прощания. На этот раз их пальцы соприкоснулись на мгновение дольше, чем того требовали приличия.

— Буду рада видеть вас снова, Андрей Петрович. И... если вдруг вам захочется написать письмо — не по службе, — мой адрес вам известен.

Он поклонился и вышел, чувствуя, как в груди разгорается что-то давно забытое, почти утраченное.

Первое письмо он написал через три дня.

Переписка их завязалась как-то сама собой, естественно и неизбежно. Сначала это были короткие записки, которыми они обменивались при служебных встречах: Елизавета Андреевна вкладывала в бумаги по сметам небольшие листки с вопросами о том или ином поставщике, а он отвечал на них столь же деловито, но с каждым разом позволяя себе чуть больше личного — замечание о погоде, комплимент её уму и распорядительности, шутку, понятную лишь им двоим.

Затем, когда служебная надобность исчерпалась, письма стали приходить иначе — через доверенного слугу, который передавал их из рук в руки. Они никогда не говорили об этой переписке открыто, но оба знали: это стало важной, неотъемлемой частью их жизни.

Он писал ей о прочитанных книгах, о новостях из коллегии, о том, как прошёл день. Она отвечала рассказами о воспитанницах, о смешных и трогательных случаях в сиротском доме, о театральных премьерах, на которых ей довелось побывать. Они делились мыслями о Вольтере и Руссо, обсуждали политические новости — войну с турками, бунт Пугачёва, слухи о новых реформах императрицы. И с каждым письмом они становились всё ближе, всё откровеннее, хотя ни разу не переступили той черты, за которой начиналось признание в чувствах.

Андрей Петрович ловил себя на том, что ждёт этих писем с нетерпением, почти с физической потребностью. Они стали для него глотком свежего воздуха в душной атмосфере его «правильной» жизни. В письмах он мог быть собой — не коллежским асессором, не мужем и отцом, не образцом добродетели, а просто человеком, который устал, сомневается, ищет чего-то большего.

И она, Елизавета Андреевна, отвечала ему тем же. Из её писем он узнал, что дом мужа для неё — не крепость, а скорее золочёная клетка, из которой она сбегает при любой возможности в долгие одинокие прогулки по набережным и паркам. Что она устала от масок не меньше, а может, и больше его. Что в её жизни, как и в его, было слишком много «надо» и «должна» и катастрофически мало «хочу». И, читая эти строки, он видел в них отражение собственной тоски — той самой, которую так тщательно прятал за ширмой добропорядочности.

Но пока они оба соблюдали границы. Пока это была лишь дружба. Лишь переписка.

В конце ноября Елизавета Андреевна неожиданно покинула Петербург — её вызвали в Москву по делам родственников, и она должна была провести там несколько недель. Андрей Петрович узнал об этом из короткой записки, переданной через слугу:

«Уезжаю в Москву. Пробуду до Рождества. Не скучайте сильно. Е.А.»

Он и не заметил, как сильно её присутствие — пусть и опосредованное, через письма — заполняло его жизнь. Без неё дни потянулись серые, однообразные, словно петербургское небо в ноябре. Он исправно ходил на службу, проводил вечера с сыном, ужинал с женой, но всё это делалось механически, без души. Он ждал. Ждал весточки из Москвы.

Письма приходили редко — раз в неделю, не чаще. Она писала о московских балах, о встречах с роднёй, о том, как скучает по Петербургу. Он отвечал — подробно, обстоятельно, стараясь вместить в строки всё, что не мог сказать вслух.

И вот, в середине декабря, пришло то самое письмо.

Он сразу узнал её летящий, нервный почерк на конверте. Сломал печать, развернул листок.

«Дорогой Андрей Петрович,

Через месяц я вновь буду в Петербурге. Признаться, я соскучилась по городским улицам, театрам и нашим беседам. Надеюсь, вы не забыли бедную провинциалку за это время?

С неизменным расположением, Е.А.»

Андрей Петрович перечитал письмо трижды. «...и нашим беседам». Эти слова, казалось, были написаны с лёгкой, едва уловимой заминкой — словно она хотела сказать что-то иное, но в последний момент остановила себя. Так же, как останавливал себя он.

Он взял чистый лист веленовой бумаги, обмакнул перо в чернильницу и задумался. Что он мог ей написать? Что ждал этих писем как манны небесной? Что её отсутствие превратило его жизнь в бесконечный ноябрьский день? Что он боится самому себе признаться в том, что она для него значит?

Нет. Пока нельзя. Пока — только дружба. Только переписка. Только предвкушение новой встречи.

Перо заскользило по бумаге:

«Дорогая Елизавета Андреевна,

Ваше письмо стало для меня настоящим подарком — и не только потому, что принесло долгожданную весть о Вашем возвращении, но и потому, что напомнило: даже в разлуке мы можем быть рядом. С нетерпением жду Вашего возвращения. Позвольте мне встретиться с Вами — я пришлю карету с моим гербом, чтобы Вы сразу меня узнали. А если позволите, в первый же свободный день после Вашего приезда я бы хотел показать Вам выставку итальянских мастеров, что открылась на медуна в Академии художеств. Говорят, там есть полотна, от которых захватывает дух. Но, признаюсь, мне кажется, что никакое полотно не сравнится с радостью видеть Вас вновь.

С искренним уважением и дружеским расположением, Андрей Петрович»

Он перечитал написанное. Последняя фраза была слишком смелой, почти признанием. Но он не стал её вымарывать. Пусть будет так. Пусть она увидит — хотя бы между строк — то, что он сам пока не решается назвать своим именем.

Он запечатал конверт сургучом с фамильным гербом Воронцовых — орёл с распростёртыми крыльями — и позвонил в колокольчик. Вошедшему слуге протянул письмо:

— Отнеси на почту. Немедля.

Когда дверь за слугой закрылась, Андрей Петрович откинулся в кресле и прикрыл глаза. В груди теплилось странное, давно забытое чувство — смесь тревоги и радостного предвкушения. Через месяц она вернётся. Через месяц он снова увидит её сапфировые глаза.

А пока — только ожидание. Только письма. Только надежда, что их дружба, выросшая из этих строк, когда-нибудь станет чем-то большим.

Но пока — только дружба. И необходимость соблюдать границы, которые он сам для себя установил.

Глава 3

Возвращение

Санкт-Петербург, март - апрель 1774 года

Весна в тот год пришла в Петербург неожиданно рано, словно спеша вознаградить жителей столицы за долгую, промозглую зиму. Уже в начале апреля снег сошёл с мостовых, обнажив булыжник, и по набережным потянуло влажным, будоражающим ветром с Невы. В Летнем саду на голых ещё ветвях набухли почки, и в воздухе разлилась та особенная, тревожно-сладостная свежесть, что предшествует пробуждению природы.

Андрей Петрович много гулял в эти дни. Служба в Камер-коллегии шла своим чередом, не требуя от него сверх обычного усердия, а дом, оставшийся без Марьи Дмитриевны и Петруши, казался непривычно пустым и гулким. Жена с сыном ещё в начале марта уехали погостить к её родственникам в подмосковное имение, и Андрей Петрович, впервые за долгие годы оказавшись в полном одиночестве, с удивлением обнаружил, что это одиночество ему приятно.

Он бродил по набережной Фонтанки, вдыхал сырой ветер и думал. Вернее, мысли его текли неостановимо, перескакивая с одного на другое, но неизменно возвращаясь к одному и тому же образу — к ней.

С того дня, как Елизавета Андреевна вернулась в Петербург, минуло уже более двух месяцев. Они виделись несколько раз — всё больше по делам Воспитательного дома, изредка на светских раутах, куда их обоих заносила служба или положение. Они продолжали переписываться, но встречи их оставались сдержанными, почти официальными. Та самая черта, за которой начиналось признание, оставалась неперейдённой. И Андрей Петрович сам не знал, что удерживает его сильнее: страх разрушить хрупкое равновесие своей «правильной» жизни или боязнь узнать, что его чувства не находят ответа.

Но сегодня вечером должен был состояться бал у графини Орловой, и он знал наверняка, что Елизавета Андреевна будет там. В её последнем письме, которое он перечитывал теперь едва ли не каждый день, среди прочего значилось:

«Графиня Орлова пригласила меня на свой ежегодный апрельский бал. Говорят, в этом году она превзошла саму себя в убранстве залы — велела привезти живые цветы из оранжерей Царского Села. Надеюсь, вы тоже будете приглашены? Мне было бы отрадно видеть вас там. Ваше общество скрашивает для меня любые, даже самые пышные собрания. Е.А.»

Он, разумеется, получил приглашение. И теперь, стоя перед зеркалом в своей спальне, тщательно выбирал наряд с тем вниманием к мелочам, какого давно за собой не замечал.

Остановился он на камзоле тёмно-синего бархата, расшитом серебряной нитью по бортам и обшлагам, — строгом, но изысканном. К нему полагались кюлоты того же тона, белоснежные чулки и башмаки с серебряными пряжками. Парик он велел напудрить особенно тщательно, а на шею повязал кружевной галстук, стоивший ему немалых раздумий: слишком пышный — будет выглядеть фатом, слишком простой — неучтиво по отношению к хозяйке бала.

«Что я делаю?» — мелькнула мысль, когда он в последний раз оглядел себя в зеркале. Он, всегда равнодушный к собственной внешности, вдруг ловил себя на желании выглядеть достойно. Достойно её.

Карета уже ждала у крыльца. Усаживаясь на кожаное сиденье, он достал из внутреннего кармана сложенный вчетверо листок. То самое письмо. Развернул, пробежал глазами знакомые строки, задержался на последних:

«Ваше общество скрашивает для меня любые, даже самые пышные собрания.»

Он вдохнул — ему показалось, что от бумаги всё ещё исходит лёгкий, едва уловимый аромат её духов, — и бережно спрятал письмо обратно.

Карета тронулась.

Бал в доме графини Орловой и вправду был великолепен. Хозяйка, известная своим вкусом и расточительностью, превзошла самые смелые ожидания: огромная зала утопала в живых цветах — гиацинтах, тюльпанах и ранних розах, доставленных, как и говорили, из императорских оранжерей. Их аромат смешивался с запахом воска от сотен свечей, зажжённых в хрустальных люстрах, и создавал дурманящую, почти одуряющую атмосферу праздника.

Гостей собралось множество — казалось, весь цвет столичного общества счёл своим долгом явиться к Орловой. Дамы в платьях пастельных тонов, с причёсками, украшенными живыми цветами и перьями, кавалеры в расшитых камзолах и при орденах — всё это мелькало, двигалось, смеялось, наполняя залу непрерывным гулом голосов. Оркестр на хорах настраивал инструменты, готовясь открыть бал торжественным полонезом.

Андрей Петрович вошёл и остановился у входа, оглядывая зал. Он приехал один — впервые за долгие годы не сопровождая жену. Марья Дмитриевна с Петрушей всё ещё гостили у родных, и он испытывал странное, почти забытое чувство свободы. Словно он снова был молодым человеком, только вступающим в свет, а не почтенным отцом семейства и чиновником, обременённым долгами и обязанностями.

Взгляд его скользил по лицам, выискивая знакомый силуэт. Он знал, что она должна быть здесь, и от этого знания сердце билось чаще обычного. Минуты тянулись мучительно долго. Князь Голицын, завидев его, приветственно помахал рукой, но Андрей Петрович лишь рассеянно кивнул в ответ, не трогаясь с места.

И вот она вошла.

Елизавета Андреевна появилась в дальнем конце залы, у главного входа, и на мгновение Андрею Петровичу показалось, что всё вокруг замерло, лишилось красок, оставив лишь её одну — в платье цвета морской волны, с причёской, украшенной нитями речного жемчуга. Платье, сшитое по последней французской моде, мягко облегалo её стройный стан, открывая белизну плеч и изящную линию шеи. Жемчуг в волосах мерцал в свете свечей, словно капли воды, запутавшиеся в тёмных локонах.

Она выглядела ещё прекраснее, чем в его воспоминаниях.

Андрей Петрович, сам не заметив как, уже двигался ей навстречу. Она заметила его и остановилась, и на её лице расцвела та самая улыбка — тёплая, искренняя, без тени светской наигранности.

— Елизавета Андреевна, — он подошёл и поклонился, прижав руку к сердцу. Голос его прозвучал чуть более хрипло, чем он рассчитывал. — Какое счастье видеть вас вновь в нашем городе.

— Андрей Петрович! — её глаза, ярко-голубые, как два сапфира, вспыхнули радостью. — Я так рада нашей встрече. Признаться, я скучала по нашим беседам.

Она говорила искренне, без жеманства, и от этого её слова отзывались в его душе теплом. Они отошли к высокому окну, выходящему в сторону Летнего сада. За стеклом, в сгущающихся сумерках, ещё можно было различить голые ветви деревьев, на которых уже набухли первые клейкие листочки, готовые вот-вот распуститься.

— Вы всё так же любите наблюдать за людьми? — улыбнулась Елизавета Андреевна, чуть наклонив голову к плечу. В её голосе слышался отголосок того самого разговора, что произошёл между ними много месяцев назад, на их первой встрече.

— Больше, чем когда-либо, — ответил он, не отводя взгляда. — Но теперь мне интереснее наблюдать за одним-единственным человеком.

Она слегка покраснела — он заметил, как нежный румянец тронул её скулы, — но не отвела взгляда. Её сапфировые глаза смотрели на него прямо, открыто, и в их глубине он прочёл нечто такое, от чего у него перехватило дыхание.

— Надеюсь, этот человек не разочарует вас, — тихо произнесла она.

В её словах был и вопрос, и вызов, и обещание одновременно. Андрей Петрович хотел ответить, сказать, что это невозможно, что она никогда не сможет его разочаровать, но в этот момент оркестр грянул первые аккорды полонеза, и зал пришёл в движение.

Он повернулся к ней и склонился в поклоне:

— Елизавета Андреевна, позволите ли пригласить вас на танец?

— С радостью, — она подала ему руку.

И снова, как в первый раз, её пальцы, затянутые в тонкую лайковую перчатку, легли в его ладонь. Сквозь ткань он чувствовал тепло её руки, и это тепло разливалось по всему его телу, прогоняя холод одиночества, сомнений, страха.

Они вышли на паркет. Полонез — танец торжественный, размеренный — позволял им быть рядом, двигаться в такт, обмениваться взглядами и редкими, полными значения словами. Он вёл её в танце, и весь остальной мир — блеск свечей, аромат цветов, гул голосов — отступил, сделался неважным. Была только она, её рука в его руке, её глаза, сияющие ярче любого жемчуга.

И в этот миг Андрей Петрович, всегда поступавший «правильно», всегда выбиравший то, что должно, а не то, что хочется, — впервые в жизни позволил себе просто быть счастливым. Не думая о последствиях. Не взвешивая «правильно» и «неправильно». Просто чувствуя.

Вечер закончился далеко за полночь. Когда он провожал её до кареты и помогал подняться на ступеньку, она на мгновение задержала его руку в своей и тихо, так, чтобы

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.